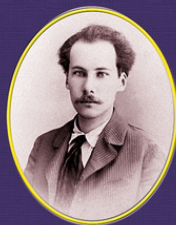


Андрей
Белый

Сочинения



Симфонии

Андрей Белый
Кубок метелей

«Public Domain»

1907

Белый А.

Кубок метелей / А. Белый — «Public Domain»,
1907 — (Симфонии)

«Метель выдувала с крыш бледные вихри. Прыснули вверх снега и, как
лилии, закачались над городом. Певучие ленты серебра налетали – пролетали,
обволакивали. Сталкивались, дробясь снегом...»

Содержание

Вместо предисловия	5
Часть первая	7
Метель	7
Город	8
Жемчуг в алом	9
Бархатная лапа	11
Бусы и бисер	14
Мед снежный	16
В пене белой	20
Предвещения	22
Полет взоров	24
Постылое зелье	27
Первая метельная ектения	28
Сумбур	30
Гадалка	34
Город	36
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Андрей Белый

Кубок метелей

Четвертая симфония

*С глубоким уважением посвящает автор книгу Николаю Карловичу
Метнеру¹, внушившему тему симфонии,
и
Дорогому другу Зинаиде Николаевне Гиппиус, разрешившей эту
тему*

Вместо предисловия

Оканчивая свою «Четвертую Симфонию», я нахожусь в некотором недоумении. Кто ее будет читать? Кому она нужна? Я работал над ней долго, я старался по возможности точнее обрисовать некоторые переживания, подстилающие, так сказать, фон обыденной жизни и, по существу, невоплотимые в образах. Эти переживания, облеченные в форму повторяющихся тем, проходящих сквозь всю «Симфонию», представлены как бы в увеличительном стекле. Тут я встретился с двумя родами недоумений. Следует ли при выборе образа переживанию, по существу невоплотимому в образ, руководствоваться красотой самого образа или точностью его (т. е. чтобы образ вмещал возможный максимум переживания)? Вместе с тем как совместить внутреннюю связь невоплотимых в образ переживаний (я бы сказал, мистических) со связью образов? Передо мною обозначилось два пути: путь искусства и путь анализа самих переживаний, разложения их на составные части. Я избрал второй путь, и потому-то недоумеваю, – есть ли предлагаемая «Симфония» художественное произведение или документ состояния сознания современной души, быть может, любопытный для будущего психолога? Это касается субстанции самой «Симфонии».

Что же касается способа письма, то и здесь я недоумеваю. Меня интересовал конструктивный механизм той смутно сознаваемой формы, которой были написаны предыдущие мои «Симфонии»: там конструкция сама собой напрашивалась, и отчетливого представления о том, чем должна быть «Симфония» в литературе, у меня не было. В предлагаемой «Симфонии» я более всего старался быть точным в экспозиции тем, в их контрапункте, соединении и т. д. В моей «Симфонии», собственно, две группы тем: первую группу составляют темы I-й части; все они, отличаясь друг от друга построением фраз, имеют, однако, внутреннее родство. Вторую группу тем образуют темы II части, которые по конструкции, в сущности, составляют одну тему, изложенную в главе «Зацветающий ветер». Эта тема развивается в трех направлениях. Одно ее направление (тема «а», как я ее привык называть) более отчетливо выражено в главе II части «В монастыре»; другое (тема «b») в главе части «Пена колосистая»; третье (тема «с») в главе «Золотая осень». Эти три темы II-й части – а, b, с, – вступая в соприкосновение с темами I-й части, и образуют, так сказать, ткань всей «Симфонии». В III и IV частях я старался выводить конструкцию фраз и образов так, чтобы форма и образ были predeterminedены тематическим развитием и, поскольку это возможно, подчинять образ механическому развитию тем. Я сознавал, что точность структуры, во-первых, подчиняет фабулу технике (часто приходилось удлиннять «Симфонию» исключительно ради структурного интереса) и что красота образа не всегда совпадает с закономерностью его структурной формы. Вот почему и на «Симфонию» свою я смотрел во время работы лишь как на структурную задачу. Я до сих пор не знаю, имеет ли она право на существование. Но я вообще не знаю, имеют ли эти права боль-

шинство произведений современной литературы. Я старался быть скорее исследователем, чем художником. Только объективная оценка будущего решит, имеют ли смысл мои структурные вычисления или они – парадокс. Но в таком же положении находятся и труженики чистого знания: будущее решает, возможно ли техническое приложение из их трудов. Я бы мог для отчетности привести здесь структурную схему всех глав, но кому это сейчас интересно? Для примера скажу только, что глава III части «Слезы росные» составлена по следующей схеме. Если мы назовем отрывки главы II части «Золотой осени», исключая первого, α , β , γ , δ , ϵ и т. д. и будем помнить, что: 1) основные темы 11-й части a, b, c, 2) одна из тем первой части есть «q», то общая конструкция главы примет вид: $\alpha\beta\gamma\delta\epsilon$ и т. д. Читатель поймет, в чем дело. Так же написано и все прочее.

Наконец, еще одна трудность для полного понимания «Симфонии». Смысл символов ее становится прозрачней от понимания структуры ее. Для того чтобы вполне рассмотреть переживание, сквозящее в любом образе, надо понимать, в какой теме этот образ проходит, сколько раз уже повторялась тема образа и какие образы ее сопровождали. И если при поверхностном чтении смысл переживания передается с точностью до 1/2, то при соблюдении всего сказанного со стороны читателя смысл переживания уясняется с точностью до 0,01.

Отсюда следует одно печальное для меня заключение: я могу рекомендовать изучить мою «Симфонию» (сначала прочесть, потом рассмотреть структуру, прочесть еще и еще). Но какое право имею я на то, чтобы меня изучали, когда я и сам не знаю, парадокс или не парадокс вся моя «Симфония»? Без внимательного отношения к моим приемам письма «Симфония» покажется скучной, растянутой, написанной ради красочных тонов некоторых отдельных ее сцен.

В заключение скажу о задаче фабулы, хотя она и тесно связана с техникой письма. В предлагаемой «Симфонии» я хотел изобразить всю гамму той особого рода любви, которую смутно предощущает наша эпоха, как предощущали ее и раньше Платон, Гете, Данте, – священной любви. Если и возможно в будущем новое религиозное сознание, то путь к нему – только через любовь. Я должен оговориться, что не имею ничего общего с современными прологами эротизма, стирающими черту не только между мистикой и психопатологией, не только вносящие в мистику порнографию, но и придающие эзотеризму смутных религиозных переживаний оттенок рекламы и шарлатанства. Должен оговориться, что пока я не вижу достоверных путей реализации этого смутного зова от любви к религии любви. Вот почему мне хотелось изобразить обетованную землю этой любви из метели, золота, неба и ветра. Тема метелей – это смутно зовущий порыв... куда? К жизни или смерти? К безумию или мудрости? И души любящих растворяются в метели.

Тема метелей возникла у меня давно – еще в 1903 году. Тогда же написаны некоторые (впоследствии переработанные) отрывки. Первые две части в первоначальной редакции были готовы уже в 1904 году (впоследствии я их переработал): тогда же основной лейтмотив метели был мною точно определен. Эти отрывки я и читал некоторым московским и петербургским писателям. Наконец, 1-я часть в законченном виде была готова в июне 1906 года (два года я по многим причинам не мог работать над «Симфонией»); при переписке я включил лишь некоторые сатирические сцены – не более.

Пишу все это ввиду того, что многие могут меня укорять в перепеве некоторых современных тем. После всего сказанного я отклоняю от себя решительно этот возможный укор.

Автор
1907 год, Москва

Часть первая Снежная лапа

Метель

Метель выдувала с крыш бледные вихри.

Прыснули вверх снега и, как лилии, закачались над городом.

Певучие ленты серебра налетали – пролетали, обволакивали.

Сталкивались, дробясь снегом.

И снег рассыпался горстями бриллиантов. Сотнями брызнувших мошек, танцуя, метался, ложился у ног.

И мошки гасли.

Но, брызнувши светом, они опять возносились.

Снова гигантские лилии, занесясь, закачавшись над городом, облетали с пургою.

Это была первая зимняя метель.

На улице казались прохожие бледными, странными, когда сталкивались, хватаясь за шляпы.

Знакомая тайна в душе пролетала неожиданно. Знакомые вопли вдали разрывались призывно. Знакомая тайна душо проплывала неожиданно.

Но бродили все так же, все так же...

Здесь прохожий мелькнет, там прохожий кивнет своей мягкой шляпой.

Проходя, столкнется с ждущим навстречу.

Все кружилось пред ним бледным вихрем – снежным вихрем.

И слово ветра становилось пурговой плотью.

Мелькали прохожие, конки, пролетки, как тени столкнувшихся диких метелей.

Единый вставал лик, метельный, желанный, – стенал, улыбался, склонялся.

Опять. И опять.

Манил все тою же тайной.

Белый рукав поднимался вдоль стены. А за ним вырастал уж другой.

Белый рукав, сочась из забора, неизменно вырастал.

Лизал стены домов.

И ускользал.

Над домами надулись белые паруса.

С пением над домами летели воздушные корабли.

Белокрылые летуны уносились сквозь время: на родину, на неизвестную родину.

Белый мертвец вставал у окна. А за ним вставал у окна белый мертвец.

Белый мертвец, сочась с кладбища, неизменно стучал под окном. Распускал саван.

И белый мертвец пролетал...

Город

Так. Взошла луна.

Кто-то, знакомый, протянул сияющий одуванчик. Кто-то знакомый все зажег.

Протянул и зажег.

Все затянулось пушистыми перьями блеска, и перья, ластясь, почили на стеклах домов.

Тень конки, неизменно вырастая, падала на дома, переламывалась, удлинялась и ускользала.

Вечер был выюжный, бодрый.

Кто-то, знакомый, сидел в конке. Пунсовый фонарь, отражаясь, дробился в тающем снеге.

Отражение мчалось на лужах, на рельсах впереди конки; чертило камни пунсовым блеском, дробилось и пропадало.

Тень конки, неизменно вырастая, падала на дома, переламывалась, удлинялась и ускользала.

Толпы учащихся, с лекций выбегая, дробились вдоль улиц, бросали в метель свои книжные знания, глупели и оснежались.

Тучи снегов, над домами взлетая, дробились сотнями зашелестевших страниц, перед носом студента мелькали и рассыпались.

Кто-то, все тот же, кутила и пьяница, осыпал руки лакея серебряными, ледяными рублями: все проструилось в метель из его кошелька, и метельные деньги блистали у фонарей.

Тень жулика, неизменно вырастая, протягивала руку, опускала в чужой карман, вынимала и ускользала.

Кто-то, все тот же, банкир и скряга, подставлял в метель свой мешок: все насыпалось туда метельными рублями, серебром, гудящими о крыши, вывески, фонари.

Проститутка, все так же нападавая, тащила к себе то банкира, то пьяницу, раздевалась, одевалась, опять выбегала в метель.

Кто-то, все тот же, протянул над городом белый, сияющий одуванчик: все затянулось пушистыми перьями снежного блеска, зацветающими у фонарей.

И перья ласково щекотали прохожих под теплым воротником.

Так.

Ветер был выюжный, поющий.

Белый рукав, неизменно вырастая, припадал к домам, переламывался, удлинялся и ускользал; а за ним поднимался рукав, а за ним поднимался еще, и еще, и еще.

Все рукава, хохотом завиваясь, падали на дома, рассыпались ярыми звездами, алмазили окна, и вот – пролетали.

И еще. И еще.

Жемчуг в алом

Невидимый диакон, склонясь над домами, замахнулся взвизгнувшим вейным кадилом, проливая ласку, воздушную, снежную.

Невидимый хор подпевал: «Радуйся, невеста метелица!»

Встали белые. Летали и танцевали.

Но сквозь них щекотали солнечные колосья, да голубые миры, словно опушенные серебряными ресницами, улыбались далеким пространствам.

Кружево иконостаса трепыхалось в пламях восковых свечек.

Златобархатный сумрак был там, испещренный пятнами лампадок.

Женщина с огненными волосами склонялась, и над ней, парчовой, диакон проливал ласку ладана, ароматно-лазурную.

И рой мальчиков прозвенел: «Радуйся, невеста невестная!»

Так: женщина с огневыми кудрями склонилась: над ней пунсовый огонек лампадки знаменательно засверкал.

Снежным облаком вуаль занавесила ей лицо.

Склонилась.

И вновь поднялась.

Легкосвистный шелк сладко запел, когда повернула к выходу.

Вьюжное облачко занавесило блеск лампадки,

И вновь развеялось.

И пурпуровый огонек знаменательно засверкал, озаряя образ Богородицы.

Все кружилось пред ней бледным вихрем – вьюгой, вьюгой.

Вспоминала: «И Слово стало Плотню».

Женщина с золотыми волосами искала всю жизнь воплощения – в улыбках, в словах и делах.

Единый вставал Лик, Желанный, – пред ней улыбался, склонялся.

Опять. И опять...

Манил все тою же тайной.

Пробужденный хаос шумно восставал. Белый столб возлетал.

И, как призрачный смычок, скользил вдоль телеграфных проводов, как вдоль струн.

И струны пели: «Наше счастье с нами». Вихряные рога гремели.

Примелькался снег, уносящийся пухом, пролетающий счастьем, как сон,

Дни летели.

Со днями летела она удивленно в пространствах.

Милого звала, все звала. А теперь вот ее призывал, призывал.

Вкрадчивой, тигровой улыбкой, из-под кружевной вуали, из-под черных, черных ресниц, из-под, как миндаль, удлинённых очей в неба бархат темно-синий взоры ее впились удивленно, сладко, томительно.

Чем жаднее пила призывами небо, тем быстрее летели вьюжные кони над городом, тем настойчивей раздавался все тот же топот, неустанно гремевший над крышами.

Метель раскидала над городом свои легкие, свистные руки.

Трубы домов – громкие трубом-дымом трубили, призывом старинным, и грустным, и легким.

Снежные когти метели то гладили ее, то иглами больно царапали.
Бархатно-мягкий день, заснеженный белыми пятнами, уплывал над домами.
Бархатно-мягкий закат, испещренный дымными тучами, потухал над домами.

Бархатная лапа

Адам Петрович спешил по спешному делу. Мелькали прохожие.
Знакомые абрисы домов высились неизменно. Говорили о том же, все о том же...
Все уйдет. Все пройдет. Уходя, столкнется с идущим навстречу.

Так кружатся вселенные в вечной смене, все той же смене.
Знакомые абрисы домов, заборы, и белые стены, и повороты кривых улиц – давно он узнал ваши тайные взывания к нему.
Бархатно-мягкий день, заснеженный бледными пятнами, потухал над домами.

Роковое горе пеленало его в своих яростных лапах.
Оно пеленало тигровой багрянницей, – шкурой, чуть-чуть страшной.
Точно буря рвала его сердце.
Милую не знал никогда он. А теперь его призывала метель.
Вкрадчивой, тигровой улыбкой из-под золотой, как горсть спелых колосьев, бородки улыбался Адам Петрович, из-под темных полей шляпы в неба бархат синий-синий взоры его летели удивленно, призывно, томительно.

Белые рои кружились над городом.
Смотрел: белые рои с гуденьем пролетали мимо и облепили влагой ресницы.
Снег рассыпался горстями бриллиантов.
Сотнями брызнувших мошек ложился у нот. И мошки гасли.

Высокая женщина с огневыми волосами из вьюги пошла неровной, вкрадчиво-грустной походкой.
Ее вид, как небо, был далекий, но близкий.
Очи, – нестерпимо влажные лоскутки лазури, – точно миры, опущенные черными ресницами, из далеких пространств поднялись они испытующе на него.

Они подавали надежду. Говорили о невозможном. Посылали свою утомленную ласку, сжимавшую сердце. Чем нежнее ластились ее глаза, тем настойчивей, жгучей рвались из рук протянутые пряди ее шлейфа – черно-пепельные с алым отливом.

Чем безумней он к ней устремлялся, тем призывней, звончей легкоцветные ткани метелей, кружась, рассыпались безвластно.

Не отгадала она странных мыслей его?
Почему она смотрит так грустно и почти улыбается
Утишает грусть и точно все спрашивает о чем-то? Вот-вот тихо подходит к нему.

Не закидала ли метель его снегом?
Почему город истаял в легкоцветной пляске рассыпчатых призраков?
Метель утишает грусть и уносит бедное сердце.
Вот-вот снегом переходит и мир.
Бедное сердце: переходит мир.

Лицо его, облак грусти, изорвала душа, заря – душа, заря взволнованно пропылала.

Душа выпивала старинный напиток, – то, чего никто не пьет: в душе взволнованно проплывали пиры, – пиры, давно пропылавшие, сладко томили.

Алое вино, алое, к щекам приливалось. Грудь разрывало одно, навек одно.

Стенающий вздох – облак снега – взвила пурга: снег – снег, бичуя холодом, просребрил. Метель запевала старинную старину, – то, чего никто не поет, никто не поет.

Белое серебро, белое, к очам припадало. Грудь озвездилась серебром, парчой.

Но она безответно промелькнула. Шелест платья пронесся, как лёт засыхающих листьев, как ток, пролетающий в ветре, как ночи и дни.

Наклонялась. Выпрямлялась. Еще прислушивалась к чему-то.

Странно обернулась и кивнула ему среди улиц.

Еще. И еще.

Но черно-пепельное платье, но лазурь очей, но волос медовое золото гасли, сливаясь оттенками в одну смутную, неизъяснимую грусть.

Так мягко горел в языках ярого огня.

Огонь пеленал тигровой багрянницей, чуть-чуть страшной.

Бархатно-мягкий день, заснеженный бледными пятнами, проплывал над домами.

Вьюга – клубок серебряных ниток – накатила: ветры стали разматывать.

И парчовое серебро сквозной паутиной опутало улицы и дома.

Из-за заборов встал ряд снежных нитей и улетел в не-беса.

Раздавались призывы: «Ввы... Ввы...»

«Увввы...»

Над крышей вздыбился воздушный конь.

Дико проржал вихряной летун, простучал копытом гулко по железу.

Прокачалась белая грива, расчесанная ветром.

Над крышей вздыбился, проржал, простучал.

Адам Петрович возвращался.

Огненно-желтое небо раскидало над домами свои бархатные, заревые объятия.

Он подумал: «Я возвращаюсь. Не возвратится ли и она?»

Выехал экипаж из-за поворота. Остановился.

Мягкий, желтый плюш, испещренный серыми кольцами, пеленал ее ноги.

Во всех окнах, обращенных к закату, махали красными знаменами.

Это были заревые отсветы вечно странных дум.

Неизменных.

Это была она... нет, не она.

Над крышей вздыбился воздушный конь.

Дико взлетел вихряной летун. Прокачался в воздухе.

И упал, разорванный ветром.

Вздыбился, взлетел, промчался, проржал.

На оранжевом платье, точно шкура рыси, сидела зимняя кофточка.

Шляпа подносом тенила лицо.

Губы – доли багряного персика – змеились тигровой улыбкой – чуть-чуть страшной.

Вышла из экипажа. С мечтательным бессердечием взглянула на него.

Мягкая кошка так бархатной лапой погладит: погладит и очарует.

Заревые отсветы переползали с окна на окно.

Вот безответно промелькнула.

Раздался шелест листьев, пролетающих, как пятна, как пятна ночей и дней: шелест шелкового платья.

Повернулся. Пошел за ней.

Улицы сплетались в один таинственный лабиринт, и протяжные вопли далеких фабрик (глухое стенанье Минотавра²) смущали сердце вещим предчувствием.

Раздавались призывы: «Вы... Ввы...»

«Уввы...»

Из всех труб, обращенных к небу, трубили дымными призывами.

Это шел бой.

Это были снеговые знамена вечно белых отрядов – вознесенных.

Военный, пролетая мимо, распахнул шинель и кричал кому-то, махая фуражкой: «Какова метелька?»

На минуту блеснула его седина, волнуемая ветром, и он скрылся в снежном водовороте.

У поворота они встретились.

Он шел неровной походкой, задумчивый, грустно-тихий.

Она скользила с заносчивой мягкостью.

Она спрашивала взором, а он отвечал; она успокаивала, а он молчал.

Они подняли друг на друга свои очи – голубые миры – и замерли, как бы не замечая друг друга.

Потом он улыбнулся, а она без улыбки сделала знак рукою, и ей подали экипаж.

Точно две встречные волны столкнулись в бушующем море старины.

И вновь разбежались.

И осталось старинное, вечно-грустное.

Все то же.

Небо угасло.

Бархатно-мягкий закат, испещренный туманными пятнами, потухал над домами.

Над крышей вздыбился воздушный конь.

Пролетая в небо, развеял хвост и ржал кому-то, качая гривой.

На нем сидел метельный всадник – вечно-белый и странный.

На минуту блеснуло его копьё; он скрылся в снежном водовороте.

Раздалось звенящее трепетанье: это буря рванула номер фонаря.

² *Минотавр* – в греческой мифологии чудовище, полубык, получеловек, рожденный женой критского царя Миноса от священного быка бога Посейдона. Минос заключил Минотавра в лабиринт. Афинский герой *Тесей* убил Минотавра.

Бусы и бисер

Пришел в редакцию.

Ему навстречу выбежал мистический анархист с золотыми волосами, вкрадчиво раздвоенной бородкой.

Его сюртук, как бутылка, зеленый, был необычен.

Чем нежнее ластился он к гостям, тем настойчивей, пытливей впивались глаза его, синие, с зеленоватым отливом.

Пурпур уст, и лазурь очей, и золото волос сливались оттенками в одну смутную, неизъяснимую грусть.

Напоминал Христа в изображении Корреджио, – все тот же образ.

Здесь шагал он все так же, все так же...

Все бродил, все говорил. Потрясал золотой, чуть раздвоенной бородкой.

Вот он безответно любил музыку: слушал прежде Вагнера; глаза зеленою горели, как хризолит.

Иногда прежде рыдал от вечно странных, ускользающих дум.

Неизменных...

Как во сне... нет, не во сне...

Теперь он стал бело-бледный, чуть светящийся, просыпающий бусы и бисер, вздыхающий – дерзновенный.

В глазах не сияла зелень – незабудки.

Брал голосом гаммы, бархатные, как снега.

От непрерывных исканий тайны глаза из-под льняных волос, из-под бледного лба правых и виноватых негою чуть-чуть грустной влюбляли мягко, ловко, настойчиво.

В окнах редакции не сверкали снега-хитоны.

Вьюга, словно Кузмин³, брала гаммы, бархатные, как снега.

От безутешных сверканий закатных «Шабли», будто в ресторане «Вена»⁴, из-под кэкуока пурги, будто белой пены шампанского, страшною негою румян зари влюбляли кого попало, страстно, настойчиво.

Речами о любви, томно-желтыми бабочками, трепетавшими вокруг уст, – еще издали забрасывал первого встречного мистик-анархист увлеченно, быстро, яро.

Будил надежду. Говорил о невозможном.

Выводил голосом бархатистые гаммы и сжимал в руке корректуры:

«Не пробегаем ли мы огневой пояс страсти, как Зигфриды⁵? Почему древний змий оскалился на нас? Обнажаем меч и точно все ищем Брунгильду.

«Вот-вот с зарей пролетает она...

«Рассыпает незабудки. Дышит светами, дышит нежно.

«Будто в зелени, сочится медовым золотом безвременья, и деревья, охваченные ею, отмахиваются от невидимых объятий и поцелуев.

³ Кузмин Михаил Алексеевич (1875–1936) – русский писатель и композитор. Примыкал к символизму, затем к акмеизму. Ему принадлежит музыка к пьесам А. Блока «Балаганчик», А. Ремизова «Бесовское действо», Шекспира «Крещенский вечер» и др.

⁴ «Вена» – петербургский ресторан, посещаемый писателями и деятелями искусства.

⁵ Зигфрид, Брунгильда – герои цикла музыкальных драм Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга»; либретто было создано композитором на основе скандинавского эпоса VIII–IX вв. «Эдда» и средне-верхненемецкого эпоса XIII в. «Песнь о Нибелунгах».

«Возмечают ликующе зеленые орари свои, точно диаконы светослужения, – упиваются, дышат, купаются в ней, прогоняя полночь».

Выскочил Нулков. Приложился ухом к замочной скважине, слушал пророчество мистика-анархиста.

Наскоро записывал в карманную книжечку, охваченный ужасом, и волосы его, вставшие дыбом, волновались: «Об этом теперь напишу фельетон я!»

Мистик-анархист говорил, вскочил, тьму заклинал и молил, и высоко вздернутые плечи, и лицо-жемчужина, и длинные пряди волос – море желтеньких лютиков – точно гасли в наплывающем вечере.

Вьюга – клубок парчовых ниток – подкатилась к окну: ветры стали разматывать.

И парчовое серебро сквозной паутиной опутало улицы и дома.

Из-за заборов встал ряд снежных космачей и улетел в небеса. Из-за забора встали гребни седин и разбились волнами о небеса. Из-за забора встал ряд снежных нитей и улетел в небеса.

Но он низвергся. Лег под ногами в одну звездистую сеть.

И опять взлетел, и все пропало...

Адам Петрович, ища разгадки, пришёл к мистику-анархисту: словами заткали его, точно громадными полотнами.

Так красивая ложь оплела паутиной его тайную встречу.

Пред ним стоял мистик и прыгал в небо. Но полетел вниз. И красиво врал.

Адам Петрович брезгливо прищурил глаза: из огневых янтарей, задрожавших в окне, сверкнул ряд колких игол и уколол небеса.

Очи зажмурил.

Иглы пересеклись, ломаясь, в одну звездистую сеть.

И очи открыл: и все пропало...

Очи открывал, закрывал: иглы ломались, метались, как тонко отточенные золота лезвия.

Мед снежный

Адам Петрович возвращался от мистика-анархиста.

Тень Адама Петровича, неизменно вырастая, рвалась вперед от него, удлинняясь и тая на мостовой.

А уж на стене скользила еще одна тень, а за ней поднималась еще.

Все двойники и вырастали, и таяли, и уплывали вперед.

Вырастали, таяли. Таяли, вырастали.

Так шел он, окруженный кучкой призрачных двойников. Так шел он с ватагой белых стариков. Так шел он, окруженный хладными роями – старинными, неизменными, вечно-метельными.

Когда же он пошел обратно, все те двойники, что истаяли, возникали опять и плыли обратно: вырастали и таяли – таяли, вырастали.

Кружевные крылья лунной птицы изорвали мечи набежавших тучек; ветер сдул бледную шапочку одуванчика, развеял пух. Развеял ветер.

Луна померкла.

Так: он думал, что странные слухи клубились по городу.

Бледный ток метущий оседал мягко: как снег, в сердца декадентов; их слова зацветали стразами и отгорали.

Декаденты бросались по городу, ужасались и восхищались. Козловод Жеоржий Нулков крутил в гостиных мистические крутني.

Смеялся в лукавый ус: «Кто может сказать упоенней меня? Кто может, как мед, снять в баночку все дерзновения и сварить из них мистический суп?»

Над ним подшутила метель: «Ну, конечно, никто!»

Схватила в охапку: схватила, подбросила – и подбросила в пустоту.

А стаи печатных книг вылетали из типографий, взвешанные метелью, проснежались непрочитанными страница-ми у ног прохожих.

Так он думал.

Да.

Темные чувства – осы – роились у сердца.

Алый бархат крови стекал с распятия, где ужас небытия распинал и пригвождал. Царь в алый шелк своей крови облекся.

Кто-то то отвергал его душу, то вновь призывал, – покрывал, словно багряницей.

Словно протягивал губку с уксусом: «Кто может Тебя снять со креста?»

Приникал к Распятию, и Распятый: «Ну, конечно, никто!»

Кто-то, милый, снял с кипарисного древа, нежно поцеловал и бросил под ноги горсти гвоздей.

Пусть тысячи колких жал вопьются в бедные ноги, орошаясь пурпуром крови.

Думал.

Декадентская общественность воевала с миром.

Социал-демократ убегал в анархизм; кучки анархистов ломались в мистику; большой, черный, теократ, как ассирийский царь, примирял Бога и человека.

Все они глумились над социал-демократами:

«Мы-то левее вас!»

За чаем бросали словесные бомбы, экспроприруя чужие мысли. Все они забежали влево, пропадали за горизонтом, купаясь в мистике, и восходили, как солнца, справа.

И ватага мистиков росла, все росла, бездельно шатаясь друг к другу и поднимая метель слов.

Думал.

Счастье Христово покинуло Адама Петровича. Он сонно ахнул, и ланиты его точно блекли, точно отгорали.

Его глаза то грустили, то искрились гневом: «Кто мог меня оставить в этих красных шелках?»

Кто-то, Невидимый, шепнул: «Ну, да: это – Я». Кротко столкнул в пасть небытия и бросил под ноги горсть бриллиантов.

И стая брызнувших миров удаленно мчалась под ногами Адама Петровича в черном бархате небытия.

«Ах, никто не поможет вернуться!»

Висел в темном. Мимо него с гудением пролетали миры; яркие звезды, блестя, бросали лучи.

Вышли помощники.

Федор Сологуб пошел на него из переулка.

Черные тени развесил, охлажденные хрусталими звездными слез: трясая седой бородой, едко заметил: «И яркие в небе горели звезды!»

Выбежал Ремизов из подворотни: «Хочешь играть со мною в снежного Крикса-Варакса?» Посмотрел из-под очков на Адама Петровича.

Вышел великий Блок и предложил сложить из ледяных сосулек снежный костер.

Скок да скок на костер великий Блок: удивился, что не сгорает. Вернулся домой и скромно рассказывал: «Я сгорал на снежном костре».

На другой день всех объездил Волошин, воспевая «чудо св. Блока».

Черные толпы ждали Городецкого на Невском.

Добрый народ поджидал долго. Прошелкал Городецкий. Щелкнул пальцем кому-то в нос.

Громовые вопли провожали мальчика.

Жеоржий Нулков на лихаче пролетел мимо и кричал: «Мы, мы, мы».

Грустно вздохнул Шестов⁶: «Не люблю болтовни!..» «Вы наш!» – закричали мистики и увели в «Вену»,

Вот как? Да, так.

Так думал Адам Петрович.

Прошел мимо.

У окна остановился.

Из окна окатил его свет: «Никто не поможет мне залечить гвоздные язвы!»

Мимо с гудением пронеслись, будто в свете брызнувшие, мошки и, ярые мошки, облепили, язвя, лицо.

Ходил вдоль стены и поглядывал, и заглядывал в окна света.

Кто там в окне сидел над лампой?

И окно света тихо угасло, и мошки угасли: кто там ушел, захватив лампу?

⁶ Шестов Лев (настоящие имя и фамилия Лев Исаакович Шварцман) (1866–1938) – русский философ-иррационалист и писатель, представитель экзистенциализма.

Очнулся. Заглянул в окно.

Там желтое кружево застыло на потолке. Там желтое кружево поползло.

Там возвращались в комнату с лампой в руке.

Бархатные ее раскидались, вихряные в небе, объятия. Неизвестная над ним взвилась. Что в ней было?..

Облачки вьюги пышно вздувала, прогоняла повое. Вздувала, прогоняла; прогоняла, вздувала.

Там на вздох отвечала вьюга вздохом. На желанье блистаньем у лампы отвечала белая метель.

Над забором затанцевал вихряной столб. Неизвестный взвивал свои бледные недра. Что в них было?

Но бежал, и вихряной столб упал в заборную скважину: там воздушные летуны – столб за столбом – пышно взлетали и пышно падали.

Из-за забора кивали друг другу, за забором носились сладкою они, сладко ахнувшей вьюгой.

За стеной у него незаметно взлетали столбы: но за стеной призывали его, как в детские годы, куда-то.

Обернулся. Пошел назад.

Снеговые столбы, выставшие, – ниспадали, ниспадавшие, – таяли.

Они встретились. Глаза блеснули. Склонились в серебряных тенях.

Они встретились, где лампадный огонек кропил пурпуром снега, озаряя образ Богородицы,

Глаза ее блеснули любовью, когда склонилась пред ним в сквозных вуалях, в осеребренных соболях; золотою головкою клонилась желанно, пурпуровым вздохом уст затомила: это все в ней радостно пело.

Это сон сбежал с его черных ресниц. Да, на вздох ответила вздохом, на желанье – желаньем.

Столкнулись. Но разошлись. Но шаги их замерли в отдалении.

Затомила, сон сбежал; ответила вздохом: но разошлись.

Он думал о ней. Она о нем думала. Пышно взлетели снега, пышно падали; то секли колко, то ласково щекотали под воротником.

В ней он узнал свою тайну. Что она в нем узнала?

Она была ему милая, а он – ей.

До встречи томились, до встречи искали, до встречи молились друг другу, до встречи снились.

Над фонарем стоял световой круг.

Стоило подойти ближе, и фонарь втягивал в себя световой, на снегу трепещущий круг.

Он шел.

Снеговые круги – круг за кругом, – незаметно втягиваясь в стекло фонаря, незаметно истаяли перед ним.

Вновь за спиной они вырастали.

Сладкая была дума о ней, сладкая о Господе тайна: значит, Господь был среди них. Грустно позвал, как и в детские годы, куда-то.

Обернулся. Пошел назад. Никого не было.

Световые круги, выравставшие, – таяли, таявшие, – вырастали.
Обернулся. Пошел назад.
Световые круги, таявшие, – вырастали, выравставшие, – таяли.

Кто там стоял и глядел на него долгими, синими взорами?
Выюжные рои взвихрились у домов. Подворотни мягко гремели, когда снежные горсти
то взлетали, то ниспадали. Все покрылось матовым инеем.
В окне вздохнули: «Кто может заснежить все?»
Выюга сказала: «Ну, конечно, я!»
Грустно задышала и бросила под ноги новые снега. Новые стаи взвизгнувшей пыли стремительно ринулись из-под забора в синий бархат ночи, мимо с гудением пронесли и облепили, холода, оконные стекла.

Белые шмели роились у фонарей.
Белый бархат мягко хрустел у его ног: горсти бриллиантов и расцветали, и отгорали.
Его глаза то грустили, то радовались лазурью, а золотая борода покрылась матовым инеем.
Смеялся в белый снег: «Кто может мне запретить только и думать о ней?»
Пробежал мимо фонаря. Кто-то невидимый шепнул ему: «Ну, конечно, никто!..»
Нежно поцеловал и бросил под ноги горсть бриллиантов. Да: цветущую горсть.
Стаи брызнувших мошек ослепительно понесли из-под ног на белом бархате снега.
Крутил у подъезда золотой ус: «Никто не может мне запретить только и думать о ней». «Думать о ней».
Звонился.
Мимо него с гудением пролетали рои: белые пчелы облепили, холода, его лицо.
Вдоль глухой стены поплыли окна света.

Это прислуга шла отпирать дверь – проходила по комнате с лампой в руке.
Окно света застыло на глухой стене: это прислуга поставила лампу, чтоб отпереть ему дверь.

«Только и буду думать о ней.
«Думать о ней».
Лежал в постели. Пробежали думы. Открыл глаза. Пробежали пятна света на потолке: это ночью на дворе кто-то шел с фонарем,
Другие думы оживили его – думы скорби: «Я – ищущий, а она – Брунгильда, окруженная поясом огня!
«Брунгильда из огня».

Открыл глаза.
Пятна света бежали обратно по потолку,

В пене белой

Завитыми огнями головки над фарфоровой чашечкой кофе склоняясь, ножкой дразнила болонку, откидывалась назад, перелистывала томик и роняла на чайный столик.

Хрупкие кружева, под окошком шатаясь, взбивала пурга, кружева разрывала, в окна стучала.

Да, стучала.

Снежное его лицо, будто метель разрывая, стужей в окно ей смеялось, кивало и проносилось.

И Светлова, к окну подбегая, в хрусталях, в льдах клонила, их целовала, протягивала руки и замирала.

Ее кружева, с рук спадая, струились, платье пенили; руки ломала и возвращалась к кофе.

Он стоял, весь в цветах, весь в снегах, в хрусталях, и смеялся у окон, как в детские годы смеялся когда-то.

Он воздел свои руки и роем снежинок, букетом цветов полевых в окна ей бросил: так бросал лепестки он в детские годы когда-то.

Он ее призывал, как и в детские годы когда-то.

Вкрадчивый мистик, краснея зарей молодой, подносил ей томик рассказов.

Завитая туманами речь, испещренная тайнами, обуревала ее.

Бархатные тувельки легко уносили ее от гостя, и ручками затыкала она уши.

Одудловатый толстяк, инженер, приходившийся ей мужем, небрежно вышел к влюбленному мистика.

Но сконфуженный студент, спотыкаясь о символы и ковры, поспешил убежать от зевающего толстяка.

Там, в цветах у ее подъезда, подглядел, как в сапях она пролетела куда-то.

За нею, за ней, в снежный хохот метелей, бросался за нею куда-то.

Из-за черных дверей в смертный саван метели бросались куда-то.

Остуженный мертвец пурги, всех пеленая, шушукал бледным муаром савана, развеивал саван, повисал над карнизом ледяной костью.

Мягкие сани, в беспредельность пурги ускользя, снег взмывали, брызгали дымным серебром, визжали и пропадали.

Грустно призыв, из пурги вырастая, бил сереброрунной струей, грустно ласкал, грустно носил.

В магазине модного платья, меж грустнорунных атласов ныряя, она выбирала муар, склонялась и выпрямлялась.

Его бледные руки тянулись в пургу, как и в детские годы когда-то.

Улыбались друзья; он не видел друзей: пробежал мимо них куда-то.

Будто звали его, как и в детские годы, куда-то.

Подруга клонила к Светловой головку страусовыми перьями, прижимая муфту к лицу, ей лукаво шептала.

Светлова клонила к подруге головку страусовыми перьями, ее меховой руки коснулась маленькой муфтой.

Лукавым смехом клонились друг к другу и страусовыми перьями; оглядываясь на прохожего, шептали друг другу: «Вот он, вот он!»

Бледный, ласковый лик, повертываясь к ним, точно хотел подойти и проходил мимо.

Бархатно-мягкий день, заснеженный выюжными вихрями, запевал над домами.

Грустнорунные струны с серебряных лютней срывая, кто-то бледный грустил, как и прежде, грустил, как и прежде.

Предвещения

Вьюга гудела.

В окне вьюга летела ледяным скелетом, обвитым зажженной порфирой, взметенной, метущей.

Гремел рог пургой: «Вот я, вот я на вас!»

Завизжало лезвие косы, струившее снег над домами; забряцал конь алмазным копытом на телеграфных проводах.

Вздрыбился. Оборвал провод: «Горе вам, горе!»

Надушенный эстет прильнул к Адаму Петровичу: «У нас откровения...»

Святые слова картавил, кривляясь, напыщенно.

Звал туда же, туда же: «Все придут. Все облекутся! Уйдя, сохранять молчание».

Широкая шляпа, качавшаяся цветами, сквозная вуаль, запевавшее шелком платье, – смотрел он, смотрел в открытую дверь.

Бархатно-мягкой походкой вошла блондинка, бархатно-мягкой походкой вошла брюнетка; завитые в вуали, бросились к Адаму Петровичу; обнимая друг друга, друг другу глядели в глаза.

«Мы запишем вас в наше общество. Мы вас пресытим восторгами. Мы вас – сладкие у нас, сладкие полеты, идите, идите к нам!»

Надушенный эстет, запевавшая шелком блондинка, запевавшая шелком брюнетка, – узнал он, узнал те горькие неги!

Чей-то тревожный окрик взлетел над городом: кто-то кого-то куда-то звал.

Расчесанный лакей снял с нее шубу: «Барин к обеду вернулся!»

И слова оплели ее пошлостью: «Все сядут за стол. Все за столом изолгутся. Уйдут и вернутся. Вернутся и уйдут...»

Знакомая мерзость дней, смешок извращенной услады, – о, если бы он поддался соблазну!

Чей-то разорванный саван шушукнул под окнами: кто-то кого-то куда-то звал.

Адам Петрович говорил с блондинкой. Ревниво краснела брюнетка, ревниво краснел эстет. Говорил с брюнеткой – ревниво краснела блондинка, ревниво краснел эстет: это были проповедники эротизма.

Блондинка, брюнетка, эстет – эстет, брюнетка, блондинка: встал, разорвал душевное кольцо.

Чье-то секущее лезвие, точно коса, протрезвонило в окнах: кто-то, бледнея, вскинул руками.

Светлова, прилетев домой, плеснула пред зеркалом перчатками. Комнаты убегали в зеркала. Там показался он, милый, милый. Обернулась – бежал ее муж: уронила сквозной платочек.

Дряблый, пыхтящий инженер, задыхаясь в подбородках, уронил ей на плечи свои потные, потные руки.

Адам Петрович надел перед зеркалом перчатки. Комнаты убегали в зеркала.

Там показалась она: милая, милая.

Обернулся – в передней стоял лакей: поднял с полу чей-то сквозной платочек.

Серый, немой лакей, застывая с шубой, уронил ему на плечи душный, тяжелый мех.

Жалкий дубовый гроб выплывал из метельных гребней: чьи-то похороны тащились куда-то.

Светлову *поймал* муж. Светлову терзал ласками:

«Знакомые обещали быть непременно!»

И она: «Придут (оставь) все такие же пошлые!» Разметнула свистными крыльями шали (точно лебедь, пахнувший холодом), и зеленые стебли, упдающие над дверью, грудью разбила, убегая к себе.

Адама Петровича поймал оргиаст. Он терзал вопросами. Знакомые ответы раздавались привычно.

Говорил все так же, все так же...

Хрустальные крылья снегов – лебедей, поющих холодом, – разбивались у него на груди, падая с небес.

Чей-то тревожный крик изрыдался над городом: кто-то кого-то куда-то звал.

Полет взоров

Вскипало. Вскипало.

Пропенились снежные листья – бледные цветики пуха.

Голосило: «Опять приближается – опять, опять начинается: начинается!»

Пробренчало на телеграфных проводах: «Опять... надвигается... опять!..»

Снег встал потоком.

К пернатым дамам вошел в ложу. Улыбнулся рассеянno, тихо.

Строгая красавица навела на них лорнет.

Ярко-синие дали очертили томные ресницы – затомили негой.

Качалось волос ее зарево, золото...

Ароматно тонула, тонула – в незабудковом платье, как небо, в белопенной пурге кисейных, кремовых кружев, будто в нежной, снежной пыли.

Замерцал в волосах, блеснул, как утро, розовый бриллиант, и, как день, матовая жемчужина слезою качнулась.

Еле всхлипнул веер в легких перьях – небрежных взмахах.

Пела выюга, свистела.

Проливались жемчужные песни – снежные, нежные сказки, выюжные.

Засвистали: «Счастье приближается – опять надвигается, опять!»

Взвизгнул рукав на телеграфных проводах, как гибкий смычок на железных струнах: «Милая... неизвестная... милая!»

«Наше счастье с нами!»

«Да, да».

Виолончель безответно вздохнула: шелест скрипок повис, точно лет снежной пены, точно пенных в небе ток лебедей от брызнувших в воздух и размешанных с ночью.

На него она обернулась: удивленно взглянула, – в упор загляделась испуганно.

В упор бирюзовым вином своих вспыхнувших глаз за-пьянила.

Опустила глаза. Плеснула веером.

Точно облачко выюги набежало на нее, как на солнце, замело кружевными снежинками.

Дышал зорями он.

Сладким пламенем, сладким, оплеснуло грудь.

Кивал, смущенно кивал, – в партер друзьям и знакомым, словно отмахивался от кокетливых ее, ласковых ее, взглядов: все точно вздыхал над чем-то.

От истомных волнений бесцельно играл с боа пернатой дамы, из-под бархата ресниц милую темно-синим взором ласкал он, все так же, предлагая кому-то бинокль глупо, бесцельно, рассеянno.

Говорил с соседкой о том же, все о том же. Глядел все туда же, туда же.

Встала она, и атласом вскипевшая шаль рванулась с нее, как взметенный, сквозной столб метельный.

Над ним, вокруг него взволнованно проплывали очей ее синие волны, синие – синева больная больно томила, сладко.

Взоров пьяное вино, пьяное, терзало одним, навек одним.

В пространствах замахали ветками снежных, воздушных ландышей: там исступленно упивались простором ночи, дышали морозным вихрем, купались, облегченно клонились петь над трубами.

И трубы пели:

«Дни текут. Снег рассыпается. Снегом встало незакатное, бессрочное»...

«Пролило пургу свою – ласку морозную – белыми своими устами расточило поцелуи льдяные»...

«Засочилось снеговым посвистом...»

И деревья, охваченные снегом, возметали ликующе суки свои, точно диаконы ночи, закупались в снеге и вздохнули облегченно, побелевшие в снежных объятиях.

Люди текли. Антракт близился к окончанию. Вот и она близко.

Надвигалась в черных сюртучных тучах, голубым неба пролетом завуаленным кружевом, укус томлений претворяя в золото и пургу.

Пролила из очей ласку лазурную. Пронесла улыбочиво уста, как лепестки, ароматные.

Шлейфом по сверкающему паркету рассыпала незабудки.

Пряди волос просочились мимо медовым пламенем, когда натянула, играя, над личиком сквозное, серебряное кружево, метнув яркий взор свой.

Кавалер ее, старый полковник, оттопырив руки, вертел фалдами мундира, сверкал эксельбантами и сединой, усмехался бритым лицом, охваченный ее кокетством, отмахивался от ее шуток, упивался, дышал, восхищался ей, вздыхал сладко в ее благоухании и – священнослужитель восторга – выше, выше свой профиль бросал, словно гордый, застывший сфинкс.

Вьюга укус страданий претворяла в радость и пургу.

Качались метельные, сквозные лилии – кадильницы холода.

Ревом, ревом фимиам свой в небо метали диаконы ледяные.

Адам Петрович вошел в ложу, повитый отсветом вечной любви, несказанной...

Вошел к своим. Нет, не к своим.

Точно спадающий водопад, струевые, певучие складки шелка дробились о нежное тело ее, когда она гордо приподнялась.

Чуть-чуть усмехнулась. Чуть-чуть покраснела, Чуть-чуть наклонилась. Чуть-чуть отступила.

Что-то сказал подруге.

– «Простите, простите!» – «Ничего!» Понял, что не туда попал.

Из ее вышел ложи сконфуженный, вечным овеянный, всегда тот же.

Гордо ударил громкий смешок гордо гремящего полковника.

Опять. И опять...

И она улыбнулась тоже.

Это были восторги их душившего счастья сближений мгновенных, чуть заметных: ветряно-снежные полеты кокетства.

Это была игра. Нет, не игра.

Просторы рыдали.

На перламутровом диком коне пролетел иерей – перламутровый иерей, вьюжный иерей, странный.

В ледистой, холодом затканной митре, священнослужитель морозов на руках выше, выше своих вознес сладкую, сладкую лютню.

Из рукавов его проструились муары снежинок. Бледными пальцами задел легкоцветные, вейные струны.

Провздыхал: «Счастье, счастье!

«Ты с нами!»

Сбежала с лестницы. Роились у подъезда. Мягкий бархат ковра хрустел у ее ног; чуть приподнятая юбка зацветала шелком и отгорала.

Ее глаза то грустили, то радовались, то смеялись, то плакали, то сияли, то потухали.

Ее шаль, как одуванчик, пушилась кружевом над золотую головкою.

Над лестницей, свесившись, похотливо смеялся ей какой-то сюртучник: «Кто запретит мне любоваться ее стройной ножкой?»

И она безответно ускользнула: шелест юбок пронесся, как вздох замирающей грусти.

Но она безответно в снегах утонула: шелест снега пронесся, как лет птиц серебристых.

Но она села в сани.

Мягкий ее снег поцеловал и под ноги бросил горсть бриллиантов.

Сани стремительно понесли, дробя хрупкий бархат.

Серебряные, как бы снежные, лютни над ней зазвенели.

Раздалось пение метельного жениха: «Ты, выюга, – винотворец: уксус страданий претворяешь в серебро да пургу.

«Радуйтесь, пьяницы, радуйтесь и вино пейте, – вино белое, – вино морозов».

И она захлебнулась морозным вином.

Постылое зелье

Она беззаботно раздевалась.

Шелест незабудковых волн шелка – водопад ниспадающих одежд – раздавался от движений ускользающих ее, обнаженных рук.

Чем нежнее ластились к ней одежды, тем настойчивей рвала их она, восставшая из голубого, залитого шелка пеной белой, точно из морской волны, разбитой утесом, – восстала в сквозном батисте.

Как две легкие тучки, поднимались, клубясь, ее груди в желтой заре волос, иссекавших ей облачковое тело.

Поднимались и опускались.

А ей улыбался желанный, улыбался вечно грустный, все тот же.

Она клубилась в темных тенях: пирно-сладким из темноты поцелуем призывала его она.

В непрестанной истоме взоры из-под, как миндаль, удлинённых глаз, из-под черных, темных ресниц бархатом жутким, синим, в ночи темь впивались властно, сладно, томительно.

Но толстяк пришел, засквозил в темноте и полез на постель, призывая шепотом жену.

Да, она упала в простыни униженно, да, отчаянно она упала, а над ней взволнованно наклонился толстяк – запыхтел и страстью сладкою пылал.

В окно плескал ветер.

Все вскипало там бисерной пеной стужи, как в бокале пьяного шампанского.

Бокал за бокалом вскипал и в окна снегом ударялся.

Она горестно замирала в постылом объятье, навек постылом.

Инженер лежал рядом с ней. Инженер шептал ей: «Люблю я!»

Дрябло прижался в слащавом томленье к ее жарко-лилейному телу.

Теснее. Тесней.

И она молчала униженно.

Ветер стих. Метель улеглась. И пропел петух.

Странно раздался задорный гортанный крик среди ночного безмолвия.

Еще. И еще.

И везде запели петухи.

И потом вновь поднялся торжествующий хаос, взметая потопом снега.

Первая метельная ектения

7

Мертвые круги проплавающих лиц, скрытность взоров, извороты кривых мыслей – давно узнала она этот страшный кошмар.

Так думала, просыпаясь: золотая, истомленная головка ее поднималась с подушки.

Волнистый дым рубашки пеленал ее тело, когда сбросила тяжелое одеяло с себя, точно золотую порфиру, испещренную пятнами.

Ей в окошко смеялась метель.

Ты, метель, – белый ком, рев снега, хохот пены, шум ветра.

Как сквозная ты птица, как лебедь, взлетела.

Взлетела над колоколом, опрокинутым над нами.

Ясным пером – снежным столбом – брякни в лазурь.

Да: заревет мировой колокол, призывая к всесветной ектенье.

Вьюге помолимся.

Ты, метель, белопенная.

В гладь лазури дымишь ты белым, шипучим снежным вином.

Возносите над миром, снега легколетные, снеги пьяные, снеги – шатуны.

Ревом, ревом оари в вышину мечите, диаконы вихрслужения.

Вьюге помолимся.

Толстый пошляк вздыхал сонно, заплетаясь в простыню – спал, все спал.

Зевая, точеными руками она охватила колени.

Белой ножкой ступила на ковер, окаймленный точно горностаевым мехом.

Ей в окошко смеялась метель.

Ты, метель, – белый цвет, облако пуха.

Как большой одуванчик, как сквозной месяц взошедший над миром, бесполезно лазурью пропитанный зимним деньком.

Пухом – колким снегом – выше взвейся, выше взвейся.

Взвизгни кружевным, снежным фонтаном.

Хлестни счастьем, замети.

Вьюге помолимся.

Ты, метель, улей белых пчел: колкими пчелками впейся в море, небесных колокольчиков.

Медоносные пчелки, от голубеньких они оторвутся цветков.

Заползут под воротник, прожужжат о невозвратном.

К вьюге, к вьюге с мольбой свои лица бросайте, руки ей стирайте.

Вьюге помолимся.

Глаза ее огорченно упали на мужа: муж был толстяк. Муж пролетал в пустоту.

Низко плавая, он мечтал о высоком.

Одутловатая, сонная голова его продавila подушку.

Брезгливо слушала его громкие вздохи, точно вздохи кузнечных мехов.

⁷ Ектения – моление, содержащее в себе молитвы-просьбы, обращенные к Богу и завершающиеся словами: «Господи, помилуй» и «Поддай, Господи».

Ах, вьюга, – зычный рог, глас Божий!
Как блаженная весть, ты в сердца нам глаголишь, ты нам глаголишь.
Зычный рог, зычный: уставься на небо и голоси, и проголоси.
Скажи, о, молитвенница наша, о, скорая наша помощница:
«Господь с вами».

Гремите, гремите, рога вихряные!
Громче, громче невесту, громче исповедуйте, громче – невесту-метель!
Се грядет невеста, облеченная снегом и ветром ревучим.
Се метель грядет снегом, неневестная.
Вьюге помолимся.

Золотая утомленная головка ее показалась в окне.
Волнистый, снежный дым взвихрил все пред ней: все пред ней точно засыпал пушистым мехом.

Она любила метель.

Ты лети, белый лебедь, из снега сотканный, лети.
Захлещи вьюжным крылом по лазурному морю.
Крылатый, крылатый, – пой нам, о, пой нам пурговую песню, улетаая к солнцу!
И лебедь поет. Лебедь летит. Поет и летит. Поет и улетаает.
«Ты, солнце, тяжелый шар, – золотой храм мира!
«Золотой храм, воздвигнутый в лазурь...
«Я лечу ко твоим, ко святым местам – к золотым столбам – лучам – ко вселенской
обедне!»
Возноси моления наши.
Улетай, лебедь-вьюга!

Сумбур

Адам Петрович шел на шумное собрание, чтобы повидаться с ясным другом, старым мистиком, давно ушедшим в молчанье.

Знакомые абрисы домов высились неизменно. Знакомые саваны мертвецов пролетали снегом.

Знакомые абрисы домов из-под них высились неизменно.

Говорили о том же, все о том же...

Все уйдет. Все пройдет. Уходя, столкнется с идущим навстречу.

Так кружатся вселенные в вечной смене – все в той же смене.

Столб метельный мелькнет, снег взвоет, снег вздохнет. Столб сольется с пургой, взметенной навстречу.

Так кружатся столбы в вечной смене, в снежной пене – все так же, все так же, запевают о том же снега.

Мистический анархист встречал гостей. Пожимал им руки.

Вводил в кабинет, озаренный розовой лампадой. Вводил в кабинет, опрысканный духами.

Здесь болтали все так же.

Все кричали. Все дерзали. Потрясал анархист, довольный собой и гостями, золотой, чуть раздвоенной бородкой.

Слегка напоминал он образ Корреджио – все тот же образ.

Столбы метели взлетали. В окна стучали. В окне мелькали. В окне запевали.

Вот анархист безответно любил музыку: слушая прежде Вагнера, словно глаза зеленою горели, как хризолит.

Прежде он рыдал от вечно странных, ускользающих дум.

А теперь – никогда.

Теперь он стал пророком сверх-логизма, сверх-энергетического эротизма, просыпал устами туманы, никому не попятные.

Точно с умыслом. Нет, без умысла.

Брал он голосом гаммы, бархатные, как ковер снегов, слушая метельные гаммы снегов.

От непрерывного улова новинок глаза из-под льняных волос, из-под бледного лба соларников, планетарников, оргиастов, дионисиастов ласкою улещали вкрадчиво, ловко, расчетливо.

С уст взволнованно слетали сласти, – сластные сласти гостей услаждали.

Нулков притаился в углу, записывал чужие мысли: у него было много записано слов. Он думал: «Пора издать книжечку».

Сбоку сидел старый друг Адама Петровича – седой мистик.

Глубже он, глубже был прочих. Его знание опережало, всех опережало, все опережало.

Недавно он выпустил громадный свой труд – труд, глубоко продуманный, стал колодцем, из которого все черпали.

Камнем он, камнем упал на дно русской словесности (на поверхности плавали книжные щепки).

Труд назывался: «Одно, навек одно».

Он не кричал о тайнах.
Но все тайны он знал.

От времен стародавних, Иисусовых, он собрал бездны гностических мудростей о любви, из-под хаоса криков утаил под личиной он любовное о Христе знание, властно, мудро, настойчиво.

Не стал во главе. Не читал лекций. Говорил: «Конец идет».
Одинокое держался седой мистик от всеобщего гама. Ждал.
Еще. И еще.
Но кругом бежали в пустоту.

А кругом стоял шум. В статьях вопили: «Мы, мы, мы!»
Но странно у старца горела в глазах заря новой жизни.
Вот. Все еще.
Но нигде не брезжил свет.
Кругом пускали мистические ракеты. Собирались в шайки.
Мистические болтуны болтали неизменно – говорили о том же, все о том же. – Что дерзнут, что мир лягут: встанут на головы грозить пятками миру.
Так сходились у мистика – анархисты – болтатели в вечной болтовне.
Златоволосый анархист точно вздыбился над головами гостей.
Рой голов подобострастно склонился пред ним, и слова его зацветали и отгорали.
Его руки то взлетали, то падали на стол, а копьё ледяное стучало по окнам.
Кричал, наступая на всех: «Кто запретит мне все перепутать?» Нулков взвыл: «Ну, конечно, никто!»
Схватил словарь Даля и подобострастно подал златобородому мистика.
Снежные мстители прилипали, вопя, к окнам.

Красные снопы лучей падали на всех. Яркими пятнами падали на лица.
Так горсти пятен расцветали и отгорали.
Старый мистик то проливал на стол седину, то шептал Адаму Петровичу:
«Промчался золотой век скромности. Кто может теперь вернуть мне былое?»
«Ну, конечно, не крикуны!»
«А все Тот же, все Тот же зовет нас туда же!»
Нервно закурил и бросил под ноги горсточку пламени на спичке.
И стая прыснувших дымов ароматно всклубилась из-под сигары в синем бархате вечера.

«Никто не знает, что творится в умах.
«Ослепли. Погибают, и призраки смерти обступят со всех сторон.
«Говорят о том же, все о том же – говорят о любви и не знают любви...
«Линию глубины превращают в точку на плоскости.
«Лабиринта глухие стены: Минотавр ждет!»

И пока шумели кругом, Адам Петрович открывал ему душу: «Я люблю ее».

«Всякая ко Христу любовь приближается! «Уносите же, милый, на Христовой любви, как на крыльях...»
«Вам дано: о, дерзните, желанный!»
«Вы на смерть пойдете!»
«Чем нежнее любовь, несказанней, тем грознее, ужасней встает ненавистное время во образе и подобии человеческом...»

«Вы любите свято, о, бойтесь, желанный: третий встает между вами!
«Странно зовет священная любовь на брань с драконом времени.
«Зовет. Все зовет...
«Все победит любовь!»

А сбоку кричали: «Чем святее, несказанней вздыхает тайна, тем все тоньше черта отделяет от тайны содомской.

«Подле белизны, лазури и пурпура Христова вихрем соблазнов влекут нас иные пурпуры⁸.

«Ангельски, ангельски в душу глядятся одним, навек одним».

Вздрыгнул над домами иерей – вьюжный иерей, белый.

Заголосил: «Соблазн разрушается!»

Замахнулся ветром, провизжавшим над домом, как мечом.

«Вот я... вас... вот я!»

«Моя ярость со мною!»

И блистал он снегами.

Перед ним, над ним, вокруг него зацветали огни: за ним мстители-воины, серебром, льдом окованные, поспешали.

Яро они, яро копьями потрясали – сугробы мечами мели, мечами.

Точно две встречные волны, столкнулись два эстета в темном углу.

Один Шептался с другим. Да, с другим.

«Вы все тот же, вы милый, тот же вечно желанный!»

«Все тот же».

«Вы – мой отсвет улыбок, мой бархат желанных исканий».

«Вы прекрасную любите даму. Да, нет – полюбите меня».

«Полюбите меня».

«Чем нежнее черные кудри к челу вашему льнут – тем смелее, тем настойчивей люблю я, люблю».

Вот и губы эстетов змеились запретной улыбкой. Да, запретной до боли – змеились, змеились.

Так.

Вскипела в окне, плача гневно, – летела, снеговая царевна.

Так гневно, так гневно склонил, опустил глаза: точно его распинала, крестная его распинала тайна.

Точно рвался с кипарисного древа, рвался.

Ах, да, да! Ему говорил старый мистик: «Они и о тайне, но в тайне и их уязвил соблазн».

Адам Петрович встал. Встал – скорбно губы застыли изгибом.

И встал...

Руки поднял, заломил, опустил: хрустнули пальцы,

И застыли губы, застыли.

Пусть: застыли.

Возвращался домой. И роились рои: у фонарей рои роились, – и у ног рои садились.

Роились.

⁸ *Пурпуры Содомы и Гоморры* – Содом и Гоморра – в библейской мифологии два города у устья реки Иордан, жители которых погрязли в распутстве и за это были испепелены огнем, посланным с небес.

Белый бархат снегов мягко хрустел у его ног: ах, цветики блесток цветились и отцветали. Его глаза то цветились, то закрывались ресницей, и парчовая борода покрывалась бархатным инеем.

Прохрустев мимо ее дома, в золотой смеялся ус:
«Кто может мне запретить только и думать о ней?»
«Думать: да, – о ней».
Бежал, бежал – пробежал.

Невидимый кто-то шепнул ему снегом и ветром:
«Думать о ней? Ну, конечно, никто».
Снежно поцеловал, нежно бросил – бросил под ноги горсть бриллиантов.
Бросил.

Стаи брызнувших искр, ослепив, уж неслись: неслись – понеслись из-под ног в белом бархате снега.

Кто-то, все тот же, долго щекотал, ярко, слепительным одуванчиком – да и все затянул: все затянулось пушистыми перьями блеска, зацветающими у фонарей.

И перья ласково щекотали прохожих под теплым воротником.

Вьющий был ветер, поющий, метущий: волокна вьющий.
Среброхладный цветок, неизменно в небо вращаясь, припадал к домам.
Облетал и ускользал: и ускользал.

Пусть за ним ускользал и другой: ускользал и другой. Пусть за ним поднимался еще, и еще, и еще...

Все рукава, хохотом завиваясь, падали на дома, рассыпались снежными звездами.
Алмазили окна и улетали, летали.

Дали темнели. Летали дали.
«Только и буду жить для нее».

Лежал в постели. Пробежали думы. Открыл глаза.
Пробежали пятна света на потолке: это ночью на дворе кто-то шел с фонарем.
Другие думы осенили его – его другие думы; «Ищущий – я: а она? Да, да!»
Открыл глаза. Набежала слеза.

Пятна света по потолку бежали обратно: убегали невозвратно.

Гадалка

В комнате, обращенная к треножнику, гадалка махала синим шелком.

Это яростно гадалкино разметалось по комнате платье, когда страстно протянула она к Светловой свои цепкие пальцы; властно вещи свои, роковые обьятия.

Прозрачное, как облако, лицо Светловой было измождено в ней горевшим восторгом.

Очи – томные токи лазури – точно острые синие гвозди, – они уходили в гадалку.

Подавали друг другу руки и сказали о невозможном.

И сказали утомленно; кому-то послали ласку, ласку сердца.

Чем восторженней ей дышала о милом Светлова, тем углям поклонялась бесстыдней гадалка, тем настойчивей на синем взвихренные плясали черные на ней кружева, как взметенная в небо пыль.

Грешные помыслы их вырастали: «Яркие встречи ваши снятся мне в углях, вырастая и тая дымом, дымком».

Грешные помыслы, что томили Светлову, вырастали и таяли, таяли, вырастали, как тени их, заплывавшие тени их на стене.

Окропили бархатно уголья; то склонялись над жаром, то поднимались.

Красная сеть пятен: как ярко-воздушный зверь, свои на них полагал летучие лапы.

То склонялись, то поднимались. Свет свои на них полагал лапы.

Пурпуровый отсвет то полз снизу вверх: то отсвет полз сверху вниз.

На Светлову глаза поднимались гадалки страстной темью, опускались, страстной темью сверкали, страстной и погасали темью.

Худая гадалка привораживала душу его страстной темью, припадала к треножнику страстной темью, поднималась и застывала.

На груди ожерелье звякнуло, свесилось к полу с груди, от груди прыснуло блеском и отгорело.

Гадалка сказала:

«Тайны сладость, тайны сладость – потому что на вздох еще до встречи он отвечал вздохом, на желанье желаньем. Он всю жизнь вас искал»

«Вы – его.

«До встречи молились друг другу, до встречи снились. Сладкая у вас, сладкая любовь. Но кто-то встанет меж вами.

«Только молитва ангелу, только умное деланье, только ворожба зажженных лампадок образ осилит рока между вами.

«Вы молились ангелу. Увидели его. Поняли.

«Что он не живой, он – ангел.

«Вот завели вы себе, живой завели образ: для новых дел завели.

«Он, только он. Вы сгорите в яростной страсти. «Только»,

Светлова стояла грустно, задумчиво, тихо.

Гадалка – с кокетством, грешной мягкостью – поднесла к лицу ее набеленный, морщинистый лик.

Светлова спросила взором, а гадалка с кокетливой мягкостью только сладко поводила глазами – только. Одна просила успокоить, только другая ее истерзала.

Только взором впились друг в друга.

И два помысла их сопряглись в чудовищном искусе.

Два умысла.

Только встало во взорах старинное, вечно грустное.

Только встало. Все то же...

Вдруг губы старухи ожгли лицо красавицы, лучась грешной улыбкой. Цыплячьей рукой, точно птичьей лапой, тихонько погладила ее, тихонько ее пурпуром дыхания жгла.

И Светлова с ужасом отшатнулась.

Бешеный иерей над домами занес свой карающий меч, и уста его разорвались темною пастью – темным воплем.

«Задушу снегом – разорву ветром».

Спустил меч. Разодрал ризы. Залился слезами ярости.

И падали слезы, падали бриллиантами, трезвоня в окнах.

Взлетел.

И с высей конем оборвался: потоком снегов писал над городом.

Город

Тень конки, неизменно вырастая, падала на дома, переламывалась, удлинялась и ускользала.

Ветер был выжженный, бодрый.

Кто-то, знакомый, сидел в конке. Пунсовый фонарь отражался в тающем снеге,

Отражение мчалось на снеге, – на талом снеге спереди рельс.

Чертило лужи пунсовым блеском: дробилось и пропадало.

Тень конки, неизменно вырастая, падала на дома, переламывалась, удлинялась и ускользала.

Толпы людей, из домов выбегая, бросались в метель, снегом дышали, утопали и вновь выплывали.

Кто-то, все тот же, кутила и пьяница, осыпал в ресторане руки лакея серебряными, ледяными рублями: все проструилось в метель из его кошелька, и метельные деньги блистали у фонарей.

Проститутка, все так же нападавая, тащила к себе, раздевалась, одевалась и опять выбегала на улицу.

Подруга клонила к Светловой своей шляпой с пышными перьями, прижимая муфточку к лицу, ей лукаво шептала.

Светлова, клонясь к головке подруги шляпой с пышными перьями, ее меховой руки коснулась маленькой муфтой.

С лукавым смехом клонились друг к другу пышными перьями, оглядываясь на прохожего, ласково и бесстыдно.

Да: в магазине модного платья они утопали в шелках и атласах, то ныряя лицами, то вырастая.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.